

## Школа одного схолярха

К 75-летию со дня смерти Казимира Твардовского  
(† 11. 02. 1938, г.Львов)

*Домбровский Б.Т.*

**Аннотация:** В статье излагаются причины возникновения Львовско-Варшавской философской школы. Утверждается, что из тупика апофатической философии Brentano, в отличие от школы теории объектов A.Мейнонга и феноменологии Э.Гуссерля, Львовско-Варшавская школа во главе с ее основателем К.Твардовским сумела выйти и в катафатической философии, в частности, благодаря различению языка-объекта и метаязыка получить ряд выдающихся результатов. Высказывается предположение, что Школа прекратила свое существование не с началом II мировой войны в 1939 г., а со смертью ее основателя в 1938 г.

**Ключевые слова:** апофатическая философия, семиотика, дескрипция, львовско-варшавская школа, теория суждений.

---

Критерий творчества: По плодам их узнаете их  
(Мм.7, 16)

### 1. Мораль вместо преамбулы

Обычно сентенции морального характера заключают повествование. В нашем же случае, т.е. в случае со Львовско-Варшавской школой все наоборот - воплощенная мораль предшествовала появлению научного содружества, но его плоды на отечественном древе вызывают удивление: как за столь короткий отрезок времени между двумя мировыми войнами и в столь тесной, хотя и многочисленной среде появилось впечатляющее многообразие научных результатов? Ответ будет предложен в конце эссе. Сейчас же обратимся к притче, которая должна придать верное направление мыслей тем, кто захочет дочитать до конца.

В рассказе одного американского писателя-фантаста речь идет о юбилее простого, серого школьного учителя, знаменитого, однако тем, что среди его учеников оказалось много лауреатов различных научных наград и премий. Среди съехавшихся на юбилей учеников, один из них привез недавно изобретенный измеритель уровня интеллекта (IQ). Увлеченные новинкой, бывшие школяры стали измерять у себя интеллект, соревнуясь друг с другом, и совсем забыли о своем учителе, который стоял в стороне от столпившихся вокруг прибора выдающихся ученых. Когда же они заметили его, то устыдились и, оставив забаву, перешли в другую комнату. А через какое-то время, обнаружив отсутствие своего учителя, стали искать, и нашли его в комнате, которую незадолго до этого оставили. Учитель стоял над прибором с подключенными электродами и был поглощен измерением. Заглянув через его плечо на шкалу, ученики были поражены: уровень интеллекта серого школьного учителя вдвое превышал уровень лучшего из них. Мораль: каждый из них сделал хотя и великое, но частное открытие в своей области, а он открыл их всех.

Последняя сентенция без какого-либо изъятия применима к основателю Львовско-Варшавской философской школы Казимиру Твардовскому. Пересказать фабулу околону научной байки подвигнул неоднократно задаваемый польскими философами автору настоящего изложения вопрос: кого следует считать гением философской школы? Как правило, вопрос задавался не столько с целью услышать ответ, сколько указать собеседнику на свое видение гения в Школе. В науке, разумеется, возможны различные точки зрения, особенно тогда, когда

речь идет о личности ученого, которую, кстати, Твардовский не считал возможным обсуждать, полагая мировоззрение человека не относящимся к науке. Однако когда вопрошающий о гении в Школе, назвав своего кандидата, добавлял, что самого Твардовского уж никак нельзя отнести к таковым и называл его «философской серостью», то нужно было приложить немало душевных сил, чтобы не опровергнуть такого искателя гениев ненаучным методом, ибо научный метод, как справедливо считал схолярх, в данном случае не работает. Оставалось вспомнить расхожее изречение – «никакой пророк не принимается в своем отечестве» (Лк. 4, 24) – и промолчать.

## 2. Школа «почти из ничего»

В Предисловии к своей монографии «Львовско-Варшавская философская школа» Я.Воленский пишет: «[...] я быстро понял, что в содеянном Казимиром Твардовским и его учениками содержится не только мощный интеллектуальный импульс, но также и очаровательная история создания чего-то почти из ничего». [18, s. 6] В этом признании, содержащем две части – оценочную характеристику философского сообщества и кокетливое замечание о его генезисе, вторая часть на страницах монографии остается нераскрытой. Разумеется, автор и не ставит перед собой задачу объяснить возникновение «чего-то почти из ничего». А между тем в этом почти шутильной дефиниции генезиса Школы содержится немалая доля правды, причем существенной правды, определившей не только пути учеников Твардовского, но также и естественный распад Школы. Вот этому акту творения «чего-то почти из ничего» и будет уделено основное внимание в настоящем эссе. Но прежде чем приступить к содержательному анализу этого почти небытия укажем, вслед за Воленским, в качестве внешних признаков Школы следующие факторы, с перечисления которых автор объемлющей монографии начинает изложение: *«генетический»* – педагогическая деятельность Казимира Твардовского и его учеников; *«географический»* – размещение школы во Львове и Варшаве; *«временной»* – школа возникла в конце XIX в. и функционировала до II мировой войны; наконец, *«содержательный»* – совокупность общих идей. Ни один из приведенных моментов, взятых отдельно, не определяет исчерпывающим образом Львовско-Варшавскую школу». [18, s. 9] Рассматривая перечисленные выше факторы, Воленский приходит к выводу, что «генетический критерий является или слишком узким, или слишком широким»; географические центры – Львов и Варшава оказываются не единственными городами, поскольку и «в других польских городах» – Вильно, Кракове и Познани» работали выдающиеся представители Школы; временные рамки также могут быть подданы сомнению, поскольку и после II мировой войны были активны представители Школы, в том числе также из первой генерации, т.е. прямые ученики Твардовского. Что ж до содержательного фактора – набора общих идей в Школе, то во избежание искажений процитируем историка отечественной философии. Я.Воленский пишет: «Четвертый фактор является, несомненно, наиболее существенным, но также и наиболее трудным в однозначном определении. Повсеместно указывается, что идейная связность школы не предreshалась совокупностью всеобщих принятых взглядов на более или менее фундаментальные философские проблемы, но общей интеллектуальной позицией. Ведь среди представителей школы находились философы с весьма разной теоретической и мировоззренческой ориентацией – отсюда, с точки зрения идей, львовско-варшавская школа является течением, намного менее консолидированным, чем феноменология, экзистенциализм или неопозитивизм. Это обстоятельство не позволяет в начале привести синтетическую, содержательную характеристику [школы], а попытка такой характеристики будет предпринята в последнем разделе настоящей книги». [18, s. 10] Последуем указаниям летописца отечественной философии, чтобы рассеять высказанные им выше недоумения касательно научного содружества, называемого сегодня повсеместно Львовско-Варшавской школой.

Последний раздел «Подведение итогов» открывает параграф, названный «Была ли львовско-варшавская школа философской школой?». Судя по высказанному вопросу, недоумения не только рассеиваются, но даже сгущаются. Для ответа на этот вопрос автор фундаментальной монографии «Львовско-Варшавская философская школа» использует критерий, позволяющий сказать, какая школа является научной школой. Он перечисляет те факторы, которые уже встречались в начале книги: а) общая генеалогия, т.е. «мастер и

ученики»; б) время, преемственность и место функционирования; с) сознание принадлежности к школе; d) общие методологические и содержательные взгляды. Каждый элемент критерия Воленский комментирует. Комментарии весьма интересны, оригинальны и точны, но только подчеркивают недоумения, возникающие при детальном знакомстве со взглядами философов школы, причем до такой степени, что впору о школе говорить как о загадочной комете, блеснувшей на горизонте науки и исчезнувшей с началом II мировой войны.

Раскрывая пункт а), Воленский отмечает, что «мастерство» или учительство повторялось, что редко встречается в других философских школах. Как правило, в школе доминируют взгляды «мастера», однако в данном случае дело обстоит иначе: парадигма философии Твардовского по мере развития школы была заменена другими воззрениями, хотя влияние мастера оставалось заметным. А далее следует знаменательное признание польского философа: «И, несомненно, Твардовский не является наиболее репрезентативным философом львовско-варшавской школы». Педагогическое же мастерство и непринятие взглядов Твардовского в качестве канона объясняется появлением логической парадигмы в философии, а многочисленность школы Воленский связывает с мировоззренческим плюрализмом, который был принят в школе как элемент программы развития философии. [17]

Пункт б) оставлен без комментариев как не вызывающий сомнений относительно места, времени и педагогической преемственности.

Пункт с) у Воленского также не вызывает сомнений и он отмечает, что сознание принадлежности к данному интеллектуальному содружеству связывалось с сознанием своей отличности касательно иных ориентаций.

Пункт d) с учетом «теоретического плюрализма» обосновать трудно: общность взглядов сводится к метафилософскому постулату – требованию ясного и осознанного философствования. Нельзя школу отнести и какому-либо «изму». Понимая всю широту сформулированных требований и отсутствие самоидентификации в школе, Воленский признается: «Возможно, даже лучше сказать так: львовско-варшавская школа не подписалась ни под никакой известной из прошлого формулой, организующей целостность философской системы, а также и не выдумала никакой новой формулы». [18, s. 311] Попытку же объяснить целостность философского сообщества наличием семейных черт, пересечение которых образует концептуальное ядро школы, по-видимому, не может быть принято в качестве объяснения объединяющего начала. Впрочем, приведем содержание этого ядра. Оно содержит: «постулат ясности, интеллектуализм, заинтересованность логикой и логическим анализом, классическую концепцию истины, эпистемологический реализм, антииррационализм, интенциональную концепцию психики, эпистемологический и аксиологический абсолютизм, объяснительную концепцию гуманитарных наук и минимализм в исходной философской позиции». [18, s. 311] Место каждого философа в школе предлагается оценивать по расстоянию от центра описанного ядра. И Воленский признается, что его определение принадлежности к школе не точно, что оно может спровоцировать «редукционистский» взгляд на школу или отдельных ее членов, а поэтому предлагает рассматривать философское сообщество «в более узком или более широком значении». Таким образом, каждый волен определять состав школы едва ли не так, как ему заблагорассудится. А поскольку «[...] Твардовский не является наиболее репрезентативным философом львовско-варшавской школы», то при желании можно и его исключить из рассматриваемого интеллектуального содружества, для чего достаточно ограничиться логически ориентированными философами. Воленский замечает, что «в этом уточненном значении Твардовский случается бывает причислен к львовско-варшавской школе с определенными предосторожностями». [17, s. 70] Абсурдность ситуации очевидна, но ее можно еще усилить, для чего достаточно задаться вопросом: кто наиболее известен миру из тех, кого называет в своем списке Воленский? В книге этого же автора можно найти и ответ – Альфред Тарский. Однако Тарский – не философ, а математик, и принадлежит ко второму поколению в школе и к ее варшавской части. Если описанную с точки зрения социологии ситуацию со Школой утрировать, то можно прийти к выводу, что она не только возникла «почти из ничего», но и превратилась в почти ничто. А между тем значимость Школы нигде, никем и никогда не оспаривалась и во всех словарях и энциклопедиях обсуждаемое научное

содружество фигурирует под именем «Львовско-Варшавская философская школа».<sup>1</sup> Очевидно, что социологический (так в книге Воленского), или науковедческий критерий, в котором используются внешние признаки идентификации научной школы, в данном случае не работает, ибо он не может объяснить ни философской серости схоларха, иногда оправдываемого педагогическим талантом, ни повторение такого же учительского мастерства у учеников, обладавших, однако, признанием своих достижений в науке, ни плюрализма, и отнюдь не мировоззренческого, а философски содержательного, ни временных и географических рамок (многие члены Школы продолжали работать после войны, но и между двумя мировыми войнами Львов и Варшава не были единственными городами в Польше, в которых были полноценные университеты). Единственным элементом предложенного Воленским критерия научной школы, который не поддается никакой критике и не приумножает недоумения остается элемент самоидентификации. Но этот элемент не является внешним по отношению к Школе, а проистекает из ее среды. Может быть, для того чтобы рассеять недоумения, возникающие в связи с изучением наследия Школы, следует обратиться по примеру самоидентификации к внутренним факторам, которые помогут внести ясность в перечисленные выше пункты а) – d)? А проще говоря, может быть стоит вернуться к истокам Школы, вернуться к деятельности ее основателя Казимира Твардовского и внимательнее присмотреться к содержательным предпосылкам формирования рассматриваемого интеллектуального содружества? Но прежде, чем перейти к обсуждению содержательных особенностей формирования Школы, а точнее одной из них, но, как кажется, наиболее существенной, добавим к перечисленным элементам предложенного Воленским критерия научной школы элемент этический. Внешне он был реализован в виде набора дисциплинарных правил, которые следовало выполнять неукоснительно. Придерживаясь этих правил, студент мог принимать участие в философском кружке, семинаре и пользоваться библиотекой семинара. Кроме необходимости придерживаться прописанных правил было также и достаточное условие, открывающее путь к членству в Польском Философском Обществе во Львове. Достаточным условием была преданность науке вообще и философии, в частности. Кратко говоря, в окружении Твардовского равнодушных к философии людей не было.<sup>2</sup>

И, наконец, уточним степень этого «почти» из определения источника школы, возникшей, как пишет Воленский, «почти из ничего». Но прежде скажем несколько слов о «ничего». Здесь под «ничто», судя по всему, следует иметь в виду патриотическую атмосферу, царившую во Львове, которую создавали инсургенты и диссиденты двух империй – Российской и Австро-Венгерской соответственно. Подогревалась эта атмосфера скрытым, а иногда доходившем до открытой вражды противостоянием трех общин города – польской, русинской (уже начавшую именовать себя украинской) и еврейской. В такой атмосфере молодежь остро чувствует свое призвание, делая жизненный выбор, например, профессии, которая в определенный момент истории наиболее, как ей кажется, нужна отчизне для ее признания международным сообществом.<sup>3</sup> В этой атмосфере и появился прибывший из Вены

<sup>1</sup> Единственное возражение автор услышал от ведущего профессора Львовского университета в связи с организацией юбилейной конференции 100-летия Школы, сказанное, разумеется, «не для печати». Это же высказывание автор слышал и от других участников конференции, обращавшихся к упомянутому выше профессору, занимавшему в то время пост проректора. Таким образом, это была позиция философского факультета в отношении Львовско-Варшавской школы, и конференции «столетия», в частности. Позиция выражалась следующими словами, которые не могли не поразить, почему и запомнились дословно: «Немає ніякої Львівсько-Варшавської школи. Її в Москві видумав Ігор Нарський, а поляки роздмухали по цілому світі.». Как известно, нет пророка в своем отечестве, но случается и так, что и отчества нет – ни малого, ни большого, хотя, казалось бы, все делается для его укрепления.

<sup>2</sup> Членами Философского Общества во Львове были не только студенты Твардовского, окончившие университет, но также представители различных профессий – учителя, юристы, литераторы и т.п.

<sup>3</sup> Импульс патриотизма находил выражение в успехах польской науки, свидетельствующих о существовании государства в разделенной между тремя империями Польше. Патриотические настроения были повсеместны в общественной деятельности и служили ее катализатором. Примерами могут служить роман Г.Сенкевича «Камо грядеши?», получивший Нобелевскую премию, а также элемент «полоний», открытый М.Кюри-Склодовской. Сюда же может быть отнесена и деятельность К.Твардовского, создавшего философскую школу.

К.Твардовский, создав центр конденсации, из которого на отечественную почву обильно излился поток публикаций, принесший со временем славу школе, созданной польским Сократом.

Теперь речь пойдет о собственно «почти из ничего». В своих лекционных курсах, а особенно в курсе логики, повторяющимся каждые четыре года, Твардовский делал упор на философию своего учителя Ф.Бrentано. Говоря иначе, Твардовский привез во Львов философию Brentано, которая не была известна ни в одном польском университете. [5] А это уже вовсе не мало, и отнюдь не «почти из ничего», если учесть, что в творчестве Brentано берет начало теория предметов А.Мейнонга, феноменология Гуссерля, и, как окажется, Львовско-Варшавская школа, а также ряд других направлений, непосредственно не связанных с воззрениями венского профессора, например, фрейдизм. «Доказательству» того факта, что появление Львовско-Варшавской инспирировано философией Brentано, в частности, наиболее уязвимой ее частью – т.н. идиогенической (в отличие от аллогенической, т.е. иного рода) теорией суждения и будет посвящено дальнейшее изложение. Правда, одной философии Brentано, разумеется, недостаточно и для превращения ее в теории нужен был конгениальный толкователь, каковым и стал Казимир Твардовский.

### **3. Абрис воззрений Brentано с точки зрения истории философии**

Свое видение современной ему философии Brentано изложил в небольшой работе, в которой принятое деление истории на античность, средневековье и Новое время уточняется в каждой из названных эпох четырьмя повторяющимися периодически фазами, первая из коих является фазой расцвета, а три последующие оказываются фазами упадка. [11] Brentано считает, что в его время философия находится в последней фазе кризиса, начало которой положил И.Кант и продолжила последующая немецкая философия. Он отрицает априоризм Канта и призывает обратиться к эмпирическому источнику в философских исследованиях, а в истории призывает брать пример с Аристотеля, Аквината и Декарта, открывающих первые фазы в соответствующих эпохах. Краеугольным камнем, из которого Brentано извлек источник своих якобы эмпирических инспираций, стала психология. Ее утверждения, свидетельствующие о ясном и отчетливом представлении в сознании предметов, он облек в экзистенциальном одночленном суждении «А есть». Форму этого суждения называют также тетической, поскольку в нем полагается существование предмета А. И, разумеется, истинные утвердительные суждения свидетельствуют о существовании предмета, а ложные – о несуществовании, причем отбрасывается не суждение, как это имеет место в традиционной силлогистике, а отбрасывается сам предмет.

Brentано критикует Канта за априоризм, а также его последователей, приведших философию на бездорожье. Априоризму он, по-видимому, противопоставляет психологизм, черпающий знания из эмпирии внутреннего опыта индивида. Но и Фихте обращается к активности мыслящего Я. Однако вся немецкая классика продолжает оперировать понятиями, тогда как Brentано считает их априорными конструкциями, пригодными быть использованными только в общих суждениях, являющихся у него отрицательными, т.е. такими, в которых отрицается существование. А значит судящий не может находиться в отношении идентичности с предметом суждения, что является у Brentано основанием для вынесения истинного суждения. Но независимо от того, существует предмет суждения или нет, сознание Brentано, а точнее сам Brentано существует. Таким образом, если Кант постулировал существование внешнего мира, независимого от субъекта, то Brentано, чтобы утверждать существование этого мира, «втягивает» его в свое сознание, а лишь затем выносит истинное о нем суждение. Поэтому в философии Brentано «истина» не только относительна (зависит от судящего), но и вторична, поскольку для ее нахождения должен существовать судящий, наделенный санкцией высказывать экзистенциальное суждение «Я есть». Brentано не боится попасть в солипсизм, поскольку выражение «Я есть» не оказывается антецедентом условного высказывания, в консеквенте которого утверждается существование предмета суждения, ведь у него имеет место идентичность судящего и образа предмета суждения. Но ситуация идентичности судящего с предметом суждения оказывается более опасной, чем солипсизм, поскольку соединяет в одном одночленном суждении истину с существованием, причем

существование, как было отмечено, в психическом акте предшествует «истине», ибо представление предмета является необходимым условием вынесения суждения.

Итак, у Brentano утверждение о существовании предшествует истинности суждения. В истории философии, а точнее, в теологии подобная позиция встречалась и получила именование апофатического богословия. Существование, лишенное каких-либо атрибутов, ведет в тупик безмолвия. Такое существование может быть только предметом веры. Именно поэтому познание в философии начинается не с постулирования существования, а с данности атрибутов, акциденций, качеств, свойств сущего. Онтология же Brentano реистического периода и акциденции рассматривает как субстанцию, которую он называет акцидентально расширенной. Предложи Brentano конвенционально признать существование некоего предмета в качестве объекта верования, то можно было бы или согласиться с ним, или нет, но все равно было бы, как кажется, трудно придти к согласию относительно свойств такого предмета, т.е. придти к истине. Поэтому когда Brentano в экзистенциальном суждении утверждает существование предмета, он занимает креационистскую позицию, или позицию творца сущего по слову. А это уже не только тупик безмолвия апофатической философии, но и креационизм, который неминуемо приведет к отрицанию утверждаемого сущего.

В свете вышеизложенного позиция Brentano резко контрастирует со всей предшествующей философией. Он мог бы сказать, «я есть, значит, я мыслю, сужу, сомневаюсь, воспринимаю качества предметов и т.д. и т.п.», тогда как у Декарта наоборот – «Я мыслю, следовательно, я существую»; у Августина – «Если я ошибаюсь, то существую» («*si enim fallor sum*»). Античность же вообще не знала подобных конструкций: древнегреческий язык не знает понятия субъекта, способного в любой момент превратиться в творца, ограничиваясь соотношением микрокосм - макрокосм. Для этого соотношения более подходит вопрос, приводящим ли образом, или нет свойство присуще предмету, в том числе и субъекту, высказывающему суждение? Ответить на поставленный вопрос удобнее при помощи суждения, материя которого состоит из субъекта и предиката. Однако это аристотелевское суждение Brentano модифицирует и приближается к лектону стоиков с тем отличием, что функция именования предмета суждением у него выходит на первый план, а истинность оказывается производной от существования представляемого предмета. До парадоксов именования, правда, дело не доходит, т.к. Brentano подстановкой не пользуется, но его суждение «я есть», подобно высказываниям бл.Августина и Декарта, чревато парадоксом, ибо они показали основание утверждения о собственном существовании («я ошибаюсь», «я мыслю»), которое самоприменимо. В экзистенциальном аспекте подобное основание приближается к парадоксу Рассела, а в истинностнозначном воспроизводит парадокс лжеца. И недаром А.Тарский построение своей эпохальной работы о понятии истинности в языках дедуктивных наук начинает с рассмотрения парадокса лжеца, проводя subtilный семиотический анализ. Таким образом, круг истории замкнулся: для утверждения собственного существования средневековые должны были сказать «я ошибаюсь», Новое время – «я мыслю», а современность возвратиться к античному парадоксу лжеца – «я лгу». А обратиться нужно было потому, что в конструкции самоприменения в действительности утверждается существование субъекта высказывания, т.е. удастся создать, по крайней мере, самого себя по слову. Человек становится, казалось бы, творцом в полном соответствии с христианским догматом. Однако парадокс лжеца окончательно дезавуирует последнее высказывание, ибо в естественном языке срабатывают защитные механизмы от творения бытия по слову, а для реализации задуманного, или только представленного существования приходится создавать *свой* язык.<sup>4</sup> Поэтому становится понятной реформа естественного языка Brentano, сетующего на его несовершенство, и использование идиогенической теории суждения. Заметим, что и Тарский определяет понятие истины не для конвенции Т, использующей естественный язык, а предлагает критерий для символического языка математической логики. Но если Brentano реформирует естественный язык, т.е. фактически создает свой язык, то Тарский избегает созидать язык, в котором совершается именование, называя такой язык метаязыком.

<sup>4</sup> В качестве такого *своего* языка, созидającego субъекта высказывания, может служить язык молитвы. Но он и не предназначен стать языком *для нас*, что совершенно необходимо Brentano и о чем подробнее речь пойдет в дальнейшем изложении.

Обратимся теперь к теории суждений Brentano, имея в виду только частные суждения, поскольку общие исходят из трактовки терминов для понятий и оказываются отрицательными суждениями.

Традиционное прочтение

(I) Некоторые S суть P

(O) Некоторые S не есть P

Возможное прочтение Brentano [9]:

следует читать Существует S, которое P

следует читать Существует S, которое не-P

Такое прочтение согласуется с реистическими установками Brentano. Именно частные экзистенциальные суждения наиболее полно приближаются к обозначающему выражению представленного предмета. Легко видеть, что выражение «существует», которым должно завершаться написание экзистенциального суждения и которое выражает момент утверждения, это выражение для обозначения предмета не играет никакой роли. А без него интерпретация частных суждений почти совпадает с выражением для дескрипции «тот, S который P». Но если учесть, что в оригинальной нотации Brentano «существует» передается выражением «*ist*» и вовсе не говорит о существовании, а есть момент утверждения, да к тому же оно ставится в конце записи экзистенциального суждения - «*SP ist*», то вполне правомерно будет считать, что прочтение высказывания о единственной представленной вещи S осуществляется при помощи дескрипции. И иного способа донести образ сознания собеседнику кроме описания у Brentano не было. Так же, при помощи дескрипции, объяснял студентам экзистенциальное суждение и Твардовский. Возникает неестественная для естественного языка ситуация: Brentano полагает, что все формы традиционного суждения можно редуцировать к экзистенциальному суждению, но для объяснения последнего вновь приходится проделывать некую процедуру редукции, но уже к дескрипции.

Результат повторно проделанной редукции не является неожиданным, ведь нет иного способа представить вовне имманентный сознанию, а значит уникальный предмет кроме как при помощи дескрипции, которая и позволяет стать ему трансцендентным. Вот как этот момент отражен в монографии Приста: «Brentano допускает, что ментальное в некотором смысле "индивидуально" ("private"). Данное слово имеет несколько смыслов в философии сознания, но Brentano употребляет его в следующем смысле: "Ни один психический феномен более чем одним-единственным человеком не воспринимается" [1, с. 107], поэтому вполне законно определять ментальное как "область внутреннего восприятия". Верно, что физические объекты являются в некотором смысле общедоступными. Вы, я и другие можем одновременно или последовательно воспринимать один и тот же физический объект. Но вы, я и другие не можем иметь восприятия данного объекта друг другом, равно как и не можем чувствовать депрессию другого или обладать чужой болью. Ваше восприятие – это ваше восприятие, а мое восприятие – мое восприятие. Почему это должно быть так в нетавтологическом и нетривиальном смысле – фундаментальный вопрос философии сознания. Но Brentano этот вопрос не интересует». [4, с.123] Как окажется, из-за этого безразличия Brentano остался непонятым, а его надежды на открытие нового этапа в истории философии в результате ревизии взглядов предшественников потерпели крах. Непосредственной причиной краха стала его теория суждений, необходимым условием которой было существование представленного предмета, что и привело в тупик апофатизма. Философия же, памятуя о логосе как органоне и поставившая своей целью поиск истины независимо от бытия, сумела выбраться из тупика апофатизма. Сегодня эта философия называется аналитической, но импульс ее развитию был придан также и теорией Brentano, которую попытались преодолеть во Львовско-Варшавской школе, уделяя внимание языку. Именно поэтому эта школа и относится к аналитической философии, чего нельзя сказать о теории объектов Мейнонга, уделявшего внимание не языку, а онтологии представленных предметов, нельзя сказать о феноменологии Гуссерля, уделявшего внимание сущности предмета.

#### 4. Поиски выхода из тупика апофатической философии К.Твардовским

Итак, экзистенциальное суждение Brentano не удовлетворяет критерию интересубъективности. С его помощью он выражает свой образ предмета, *для себя*, тогда как собеседнику предлагается трактовка образа при помощи описания, т.е. *для нас*. Преодолению разрыва при восприятии образа *для себя* и *для нас* без отказа от идиогенической теории суждений Brentano была посвящена вся научная деятельность Твардовского. В своей

неоконченной и неопубликованной «Теории суждений» он пишет: «Мы имеем также обозримое представление о собственных явлениях сознания, о наших чувствах и суждениях и т.п., поскольку они подпадают под понятие внутреннего опыта, *тогда как о явлениях сознания иных существ, имеющих таковые, мы не обладаем обозримыми представлениями, а иметь их может только существо, "смотрящее в сердце"* (выделено мною – Б.Д.) и знающее сокровеннейшие мысли всех мыслящих существ». [6, с. 52] В «Теории суждений» Твардовский пытается обнаружить логическую форму экзистенциального суждения без насилия над естественным языком, предполагая соответствие частей материи суждения и представленного предмета, не исключая и метафизического аспекта у целого и его частей. В отличие от Brentano он идет «от языка» к существованию представленного предмета: «Но, говоря о представлениях вообще, очевидно, что под ними мы вынуждены понимать и понятия; почему представления, взятые в уточненном значении и понятия охвачены общим названием, образуют единую группу явлений сознания - это удастся показать лишь после исследования суждений». [6, с. 52] Таким образом, Твардовский принимает во внимание понятия, а значит и термины для них, т.е. принимает актуальное состояние языка, а с другой стороны, намеревается обнаружить суждение как обозначающее выражение имманентного сознанию предмета. Однако установка Твардовского на идиогеническую теорию суждений Brentano была столь сильна, что построить даже *для себя* такую теорию он не смог. С точки зрения языка эта установка состояла в том, что экзистенциальное суждение должно было не только именовать, и даже более (о чем навряд ли догадывался сам Brentano) – создавать сущее по слову. Задачи заведомо невыполнимые: решение первой утрачено уже Адамом, а вторая предполагает занятие позиции Творца.

Одна из причин неудачи построения теории суждений Твардовским – индуктивный подход к выражениям естественного языка, характерный сегодня для аналитической философии. Твардовский пишет: «А ведь теория суждений может появиться из индукции, проведенной на основе всевозможных видов суждений: только тогда она охватит естественным образом все суждения и будет выражать их сущность». [6, с. 53] Очевидно, что суждения как обозначающие выражения своих предметов у различных индивидов столь многочисленны, что эффективно применить индукцию к постоянно изменяющейся материи естественного языка едва ли возможно. Для создания новой теории суждений и построения не ее основе логики нужно было отыскать логическую форму тетиического высказывания, а не просто объявить его экзистенциальным, а этого не сделал ни Brentano, ни Твардовский.

Здесь же отметим еще один момент, когда Твардовский не был согласен с Brentano. А именно, уже будучи во Львове профессором, Твардовский узнал об эволюции онтологических воззрений Brentano к реизму, с чем и выразил свое несогласие, сделав запись в Дневнике. И если развитие системы Brentano пошло в сторону реизма, то Твардовский продолжал защищать свою позицию, нашедшую выражение в докторской диссертации: беспредметных представлений не бывает, а бывают представление очные и заочные, например, понятия, или противоречивые – круглый квадрат. Но как бы там ни было, а предмет общего представления всегда существует, хотя может быть заочным (не данным наглядно). Предметами таких представлений, считает Твардовский, мы оперируем при помощи символов, обозначающих эти предметы.

Поскольку сходу построить идиогеническую теорию суждений Твардовскому не удалось, то выход из создавшегося положения он ищет в двух направлениях – онтологическом, продолжая отстаивать существование т.н. общих предметов представления, а также методологическом, острием которого стала семиотика, ведь на повестке дня стоял вопрос обозначения предмета суждения. Вторым направлением займемся позже, а сейчас вкратце коснемся онтологии представленных предметов. Справедливости ради, следует заметить, что разделить оба направления можно с трудом и условно, поскольку именно в этом разделении и состоит решение проблемы кодификации объекта исследования, задаваемого теорией Brentano.

Итак, учитывая негативный опыт построения идиогенической теории суждений Твардовский сосредоточился на онтологическом ее аспекте, развивая учение о понятиях и образах. [18] Воленский в своей монографии о Школе замечает, что «Твардовский отдавал предпочтение психологическому анализу в духе дескриптивной психологии. Этот тип анализа – пишет Воленский - я не буду реконструировать, поскольку в львовско-варшавской школе у Твардовского не было учеников, продолжавших [культивировать] такой анализ, во всяком



случае, таким анализом не занимался ни один из его выдающихся учеников. Я ограничусь – продолжает исследователь Школы – единственно указанием подчеркиваемых Твардовским общих достоинств аналитического метода. Аналитическая позиция может предостеречь философию от спекуляций, ведь анализ придает дискутируемым проблемам однозначный смысл, обеспечивает *интерсубъективный характер* (подчеркнуто мною – Б.Д.) дискуссий и способствует применению критического метода». [18, с. 38] Приведенная цитата, как кажется, требует уточнения. Действительно, первое поколение учеников Твардовского, принесшее школе славу и признание – Лукасевич, Лесневский, Чежовский, Котарбинский, Айдукевич не культивировали в *своем* творчестве психологический анализ, но это не значит, что не пробовали.<sup>5</sup> Зато вторая генерация львовян – И.Домбская, Л.Блауштайн, Д.Громская, Г.Слоневская собранные в т.н. приватиссимум продолжили психологический анализ представлений, разрабатывая онтологию идиогенической теории суждений. Напрашивается вопрос: почему никто из выдающихся учеников основателя Школы не продолжил его в предмете исследования, но все восприняли методологию, получившую позже наименование аналитической? И уж совсем трудно согласиться с утверждением Воленского об интерсубъективном характере проходивших в Школе дискуссий. Дискутируемой проблемой не могла быть проблема построения идиогенической теории суждений, зато такими проблемами были ее компоненты - проблема абсолютизма истины, проблема существования предметов, их номинации. Эту теорию Brentano Твардовский разделял и излагал ее на лекциях своим ученикам во всех подробностях, стараясь их убедить в ее правильности, для чего использовал метод парафраз, широко применяемый ими впоследствии, особенно Айдукевичем. [18]<sup>6</sup> Но все старания прекрасного педагога были напрасны: никто из первого поколения студентов не смог присвоить эту теорию суждений, сделать ее *своей*. Более того, никто прямо и не восстал против идиогенической теории суждений. И дело здесь не в авторитете Твардовского, который мог бы подавлять оппонента. Наверное, Твардовский был бы рад, если кто-нибудь из его учеников высказывал бы возражения, которые смогли бы помочь исправить недостатки теории. Можно даже допустить, что учитель провоцировал учеников на такие возражения, постоянно подчеркивая критическую составляющую аналитического метода, культивируемого в Школе. Все было напрасным: предмет экзистенциального суждения «для себя» никак не удавалось сделать предметом «для нас». И мешал этому присвоению естественный язык, превращавший представленный предмет в процессе трактовки суждения в его описание, которое в изложении Твардовского при помощи парафраз растягивалось во времени не на одну лекцию, образуя контекстуальное определение дескрипции. И во время описания, когда студентам предъявлялись все «за» и «против» излагаемой теории, совершенствовалась методология широко понимаемой логики, которую и усвоили ученики Твардовского. Понятие «широко понимаемой логики», как отмечает Воленский, включало в себя семиотику, что очевидно, ведь вопрос о предмете суждения оставался открытым – именует ли его экзистенциальное суждение, или описывает, как того требовал метод дескриптивной психологии. Остается открытым и науковедческий вопрос: что это за философская школа, в которой никто не наследует схолаарха в предмете исследования, но только в методе? Но именно поэтому Школа и оказывается сугубо философской, ибо у королевы наук нет своего предмета, но только служащие ей методы.

Возвращаясь к идиогенической теории суждений, повторим, что материя односоставного выражения языка непосредственно должна предъявлять представленный предмет, однако экспликация такого суждения проходит при помощи дескрипции, придаточное предложение которой как раз и выражает содержание, которое следует усвоить при восприятии материи то

<sup>5</sup> Достаточно близкими к взглядам Твардовского на онтологию в вопросе о предмете суждения были воззрения Мейнонга, с которым львовский философ в одном из писем, датированным 1897 г., делился намерением написать книгу о суждении. [13] Именно к Мейнонгу в Грац и был послан на стажировку в 1908/09 г. Лукасевич. О теории объектов Мейнонга писал статьи также психолог С.Балей, однако в дальнейшем занимался генетической психологией, а не дескриптивной. Следовательно, попытки продолжить психологический анализ все же имели место в Школе.

<sup>6</sup> С конспектами лекций по логике, в частности, по силлогистике Brentano автор настоящей статьи ознакомился в библиотеке Львовского университета и может свидетельствовать о титанических усилиях Твардовского, стремившегося донести до сознания студентов идиогеническую теорию суждений. Силлогистика Brentano была опубликована (по записям лекций) в 1956 г. [2; 10].

ли суждения, то ли дескрипции. Поэтому содержание можно было определять по-разному. В кратком реферате «О идио- и аллогенетических теориях суждения» Твардовский содержание понимает как существование. Он пишет, что «в каждом суждении следует отличать акт, содержание, предмет суждения. Актом суждения является утверждение (признание) или отрицание (отбрасывание). Содержанием каждого суждения является действительность (существование). Предмет суждения есть то, действительность (существование) чего мы утверждаем (признаем) или отбрасываем (отрицаем). [18] Эту точку зрения, как кажется, следует воспринимать как безотносительную к любому выражению языка в функции обозначения, принимающую во внимание только обозначаемое, т.е. существующее в каком-либо из его модусов. Говоря же современным языком, а главное, с учетом исторической роли понятия, эта точка зрения принимает во внимание только экстенционал. Уточнение обозначающего выражения, а тем более составного Твардовский пытается провести с помощью интенционала как набор общих черт сущего с учетом выражения психического акта суждения. Говоря иначе, на пути перехода от экстенционально понимаемого существования к интенциональному находится выражение языка. Теперь становится понятна роль работы Твардовского «О действиях и результатах». В ней уточняется роль языкового знака, в нашем случае, суждения, способного удовлетворять критерию интерсубъективности, т.е. сделать предмет «для себя» предметом «для нас». Достигается такое присвоение уподоблением «психического результата (образа – Б.Д.) психофизическому (выраженному суждению – Б.Д.) таким образом, что он воздействует на разные индивиды, часто выражая один и тот же психофизический результат. Благодаря этому обстоятельству психический результат, повторяющийся почти идентичным образом в разных особах, приобретает характер чего-то независимого от этих действий». [8, с. 187]

Следовательно, в работе «О действиях и результатах» Твардовский намеревается преодолеть пропасть в восприятии одного и того же предмета высказывающим суждение и воспринимающим его при помощи психофизического результата, каковым является языковое выражение для представления и суждения. Два последних психических акта фактически не различаются и все рассуждения данной работы носят подготовительный характер к преодолению дистанции между двумя образами сознания – «для себя» и «для нас». Задача была бы решена, если бы в работе прозвучал ответ о логической форме экзистенциального суждения. Такого ответа работа не содержит и заканчивается она выражением надежды, что «систематическое исследование результатов, рассматривающихся до сих пор применительно к потребностям различных наук только с определенных частных точек зрения, возможно, не является бесполезным делом; проведенное же соответствующим образом оно создавало бы теорию результатов». [8, с. 191-192] Указание на «теорию результатов» примечательно, т.к. косвенным образом указывает на источник результатов – человека, представляющего предмет и судящего его. А тот факт, что преподой для присвоения таким образом созданных результатов оказывается язык, этот факт указывает на роль языка как при создании этих результатов, так и их усвоении. Несомненен и тот факт, что работа «О действиях и результатах» является продолжением незаконченной, а потому и неопубликованной «Теории суждений», она является еще одной попыткой в более широких границах решить проблему интерсубъективности для идиогенетической теории суждений. Границы эти определены гуманитарными науками, поскольку именно в них легче всего обнаружить проявления психической деятельности.

Наконец, отметим решение проблемы существования (правильнее будет сказать – восприятия существования) в экстенциональном и интенциональном выражении, т.е. в суждении и дескрипции. Brentano она была решена радикально, а именно – принятием концепции реизма, для чего он отказывается от бикатегориальной онтологии Аристотеля – субстанции и акциденций, полагая все сущее субстанцией, но акцидентально расширенной. Таким образом, акциденция – это тоже субстанция и только поэтому она может быть воспринята. Проблему же выражения такой расширенной акцидентально субстанции Brentano якобы уже решил в «Психологии с эмпирической точки зрения», редуцировав традиционное суждение к экзистенциальному, которое не удовлетворяет критерию интерсубъективности, вследствие чего возникает проблема утверждения такого суждения. А возникает она потому, что выносящий экзистенциальное суждение, например, Brentano неявно полагает акциденции оценками, ибо подводя их под критерий очевидности (Evidenz), утверждает на его основании и

об истинности высказывания. И если сделанное предположение верно, то остается заметить, что относительно эстетических оценок согласия нет и тем самым объяснить невыполнения критерия интерсубъективности. Твардовский же, как было показано, существование представленного предмета пытался уточнять, развивая теорию образов и понятий, а вместе с тем ищет пути выражения представленного предмета в суждении.

### 5. Центростремительные и центробежные тенденции в Школе

Вследствие ограниченного объема статьи речь о центростремительных тенденциях в Школе не может быть продолжена. Достаточно заметить, что объединению философов служили различные институциональные начинания Твардовского, а главное – его харизматическая личность.

Начиная с 1918 г. начали сказываться и центробежные тенденции в Школе, приведшие к ее распаду с началом II мировой войны в 1939 г. Но можно высказать и иную мысль, внося в последнюю дату поправку: Школа перестала существовать со смертью Твардовского, наступившей 11 февраля 1938 г. Основанием для подобного утверждения может служить тот факт, что психологический анализ, порожденный попытками обосновать идиогеническую теорию суждений, больше некому было культивировать. Говоря иначе, интерсубъективная пропасть, порожденная суждением «для себя» и «для нас» пропала, исчез раздражитель, побуждавший двигаться в направлении от онтологии к семиотике, да и первое поколение (за исключением Т.Чежовского) свою часть дистанции прошло, а второе поколение львовян сосредоточилось главным образом на онтологии в рамках дескриптивной психологии (за исключением Домбской). В Варшаве же консолидирующим началом стала математическая логика, вершиной исследований которой можно считать работу Тарского об определении понятия истины в дедуктивных науках. Эта работа и позволяет, по крайней мере, внешним образом провести различие между львовской частью Школы и варшавской: во Львове философствовали на естественном языке, а в Варшаве использовали искусственный,<sup>7</sup> реализовав тем самым, хотя бы и формально, намерение Brentano преобразовать язык, поскольку его онтология требует не паллиатива в преобразовании естественного языка, а создания новой, а значит искусственной кодификации предлагаемого венским философом бытия. Символическая логика была экстенциональной, тогда как на пути восприятия предмета экзистенциального суждения, на что и указывал Твардовский, вставал, скажем так, интенциональный контекст содержания. Прочтение же суждения при помощи оборота «тот S, который P» приоткрывало интенциональность в придаточном предложении, но в Школе никто на эту особенность не обращал внимания. Это сделал Рассел в результате прочтения работ школы А.Мейнонга. Замечание Б.Рассела по поводу выражения объектива Мейнонгом, якобы оно является дескрипцией, было верным, но для экспликации последней он использовал пропозициональную функцию, заимствованную им у Г.Фреге, что позволило уточнить возможные предметные области, но которая оказалась неадекватной, ибо анализ предмета представления должен проводиться в парадигме целого – части, а не элемента и класса.

Итак, причиной появления центробежной тенденции в Школе следует считать пропаганду идиогенической теории суждений ее основателем К.Твардовским. Ученики Твардовского оказывались перед альтернативой: обозначать предмет представления, или описывать его, как требовала дескриптивная психология. Зарождавшаяся математическая логика, заимствовав у математиков стандартное высказывание «обозначим», склонила чашу весов в свою пользу. Разумеется, не все ученики Твардовского стали логиками, но функция номинации была в центре внимания без исключения каждого. Остается добавить, что начало преподавания на польском языке в Варшаве и обретение в 1918 г. Польшей независимости позволили первой генерации в Школе реализовать психологическое неприятие теории суждений Brentano-Твардовского также и физически, заняв кафедры в Вильно, Варшаве и Познани.

<sup>7</sup> Исключением является Вл.Татаркевич. Но он не был учеником Твардовского и приехал в Польшу из Марбурга уже со степенью доктора. Однако требования к методологии, предъявляемые в Школе, Татаркевичем разделялись.

Теперь вкратце коснемся нескольких персоналий. Первым провозгласил свой отход от психологизма Я.Лукаевич, вошедший в историю тем, что нарушил заповедь - «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мт.5, 37), создав трехзначную логику. В своем Дневнике он писал: «Я уже давно не любил психологизма, культивируемого Твардовским, сейчас порвал с ним окончательно»<sup>8</sup>. Целью реабилитационной работы «Анализ и конструкция понятия причины», в которой Лукаевич выступает детерминистом, являются исследования необходимых отношений: «До сих пор никто не пытался систематическим образом разработать теорию необходимых отношений». [12, S. 54] В качестве необходимых отношений между абстрактными предметами Лукаевич выберет логические законы непротиворечия и исключенного среднего, которые он называет «онтологическими принципами». Но существование по слову не позволит ревизовать эти законы и тогда он волюнтаристским способом введет третье истинностное значение «возможно», ища ему оправдание в статье «О детерминизме». [3] Так Лукаевич перейдет от *необходимости* к *возможности*, нарушив принцип бивалентности и став индетерминистом. Однако его третья истинностная оценка, в отличие от Brentano, лишена каких-либо экзистенциальных коннотаций. Но результат оказался тем же: Brentano отваживается на реформу естественного языка, а Лукаевич вынужден создавать свой язык, конструируя семантику логических связей, и даже создавая т.н. польскую нотацию, идею которой подал ему Л.Хвистек. Созидание языка, хотя бы и в форме исчисления, свидетельствует о том, что Лукаевичу не удалось уйти от апофатической философии Brentano, а его третье истинностное значение есть такой же предмет представления, как и предметы идиогенической теории суждений. Если поверить Лукаевичу и считать, что он отошел от психологизма, то возникает вопрос: на каких основаниях была введена третья оценка? Остается заметить, что основанием компромисса является этика.

Если Лукаевич попросту - как ему казалось - отошел от психологизма Твардовского, то С.Лесневский воспринял вызовы, поставленные философией Brentano. Его теории реализуют функцию именования в области психологии, превращенной им в методологию (Мереология), в Онтологии и логике (Прототетика). Поэтому в предваряющем работу "Об основаниях математики" посвящении Твардовскому, в котором Лесневский называет себя "благодарным учеником и апостатом философии", можно увидеть не столько отступничество, сколько извинение. Остается добавить, что, в отличие от Лукаевича, Лесневский курс этики у Твардовского не слушал, поскольку прибыл из Германии уже завершать свое образование, но воспитание он получил в Иркутской гимназии.

К.Айдукевич сделал упор на конвенционализм, частично преодолевающий нарушение интересубъективности в теории Brentano, а также на выяснение смысла выражений естественного языка, не допуская при помощи семантических категорий превратиться смыслу в трансценденталии, оправдывающие существование гипостазированных предметов. А поскольку Айдукевича часто называют «философом языка», разумеется, естественного, то это значит, что изначальной его позицией было не существование представляемых предметов, а язык. Поэтому его философия катафатическая, а не апофатическая.

А.Тарский в духе работы Твардовского «О процессах и результатах» и вопреки Лукаевичу выяснил природу логической оценки «истина», указав на ее процессуальный характер даже в формализованном языке (понятие выполнения), а отнюдь не результата (вещи). Превратив же язык комментариев своего учителя Лесневского в метаязык, Тарский возвратил функцию номинации собственно языку, окончательно изъяв ее у носителя языка, чем и положил конец апофатизму в философии, вернув ее на путь катафатизма. Различение в органоне философии языка-объекта и метаязыка расчистило русло течения, получившему название аналитической философии. Но следует помнить, что в значительной мере эта философия инспирирована взглядами Brentano, на преодоление которых Твардовский с учениками положили немало трудов.

---

<sup>8</sup> Дневник (не опубликован), с.56; оригинал находится в Архиве Варшавского университета. Цит. по [19, S.32]

Из первого поколения учеников Твардовского только Т.Чежовский продолжал разделять теорию Brentano, пытаясь выяснить роль трансценденталий в обосновании предметов суждений и провести демаркационную линию между онтологией и аксиологией.

Все творческое наследие Львовско-Варшавской школы свидетельствует о наступлении нового этапа в истории философии – апофатической философии (с первой фазой расцвета - аналитической философией), и даже наступлении второй фазы (упадка - постмодернизм) в соответствии с известной теорией Brentano о четырех фазах развития философии.

Апофатическая философия должна выявить защитные механизмы языка (как естественного, так и искусственного), запрещающие создание вещей на основе индивидуальных оценок, превращая их в категории онтологии (пространства у Brentano и времени у Лукасевича), что позволяет обнаружить экзистенциальный провал конструируемых в языке вещей и поставить заслон реизму.

### Список литературы

1. Brentano F. Избранные работы. [Пер. с нем.] М.: Дом интеллектуальной книги, РФО, 1996. 172 с.
2. Домбровский Б.Т. Позитивная метафизика: от Аристотеля к Brentano // Препринт N2-92 ИППММ АН Украины. Львов: 1992. 97 с.
3. Лукасевич Я. О детерминизме [Пер. с польс.] // О принципе противоречия у Аристотеля. М.-С-Пб.: 2012. 255 с.
4. Прист С.. Теории сознания. [Пер. с англ.] М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 312 с.
5. Твардовский К. Автобиография [Пер. с нем.] // Вопросы философии, №9, 1992. С. 63-74
6. Твардовский К. Теория суждений [Пер. с польс.] //Логос. 1999. №7. С. 50-66.
7. Твардовский К. Франц Brentano и история философии [Пер. с польс.] // К.Твардовский. Логико-философские и психологические исследования. М.: РОССПЭН. 1997. 251 с.
8. Твардовский К.. О действиях и результатах. Несколько замечаний о пограничных проблемах психологии, грамматики и логики // К.Твардовский. Логико-философские и психологические исследования. М.: РОССПЭН. 1997. 251 с.
9. Черноскутов Ю.Ю. О силлогистике Франца Brentano // Седьмые Смирновские чтения по логике. Материалы международной научной конференции 22-24 июня 2011. М., 2011. С. 154-156.
10. Brentano F. Die Lehre vom richtigen Urteil. Nach den Vorlesungen über Logik. Mayer-Hillebrand F. (ed.). Bern. 1956. 211 s.
11. Brentano F. Die vier Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand. Nebst Abhandlungen über Plotinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer und Comte. Meiner. Leipzig, 1926. 23 s.
12. Łukasiewicz J. Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny // Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane. Warszawa: PWN. 1961. s. 309.
13. Philosophenbriefe. Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz von Alexius Meinong. Ed. Rudolf Kindinger. Graz. 1965, S. 143-144.
14. Twardowski K. Wyobrażenia i pojęcia. Lwów, w komisie AL 1898, s. 151.
15. Twardowski K. Przemówienie wygłoszone na zebraniu jubileuszowym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie dn. 12 lutego 1929 r. // Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa, PWN, 1965. s. 393.
16. Twardowski K. O idio-i allogetycznych teoriach sądu // Przegląd Filozoficzny. 1907 (X). S. 476-478.
17. Woleński J. Szkoła lwowsko-warszawska: między brentanizmem a pozytywizmem // Principia. Tom VIII-IX. Kraków. 1994. S. 69-90.
18. Woleński J. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska.-Warszawa. 1985. s.348.
19. Wolenski J. Szkoła lwowsko-warszawska w polemikach. Warszawa. 1997. s. 206.